

Владимир Орлов

Альтист Данилов

1

Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

...В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы

ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей – и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещей голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой

спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным – молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает.

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле – совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость – съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи – как бы чего эдакого, грешным делом, не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения.

– Как нынче лобии удалось! – радуется

Данилов.

– Ты вот салат этот желтенький попробуй, – спешит в усердии Муравлев, – тут и орехи, и сыр, и майонез.

– Соус провансаль, – поправляет его Данилов, а отведав желтое кушание, принимается расхваливать хозяйку, как всегда, искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.

– Ну вот, – говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, – а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

– Мучил, – соглашается Данилов. И добавляет

печально: – А мне их и сейчас жалко... И этого вот барашка... И мать его осталась теперь одна...

– Глупости... Метафизика... – просыпается Кудасов. – Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

– Это вы зря, Валерий Степанович, – тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. – Напротив, Володя ходит на все семинары!

– А мать-то этого плова, – добавляет Кудасов, – давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

– Зачем вы так... – кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе – и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета – и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка) стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки, и гости с

хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает.

– Ну как? – робко спрашивает Данилов.

– Прекрасно! – говорит Муравлев. – Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах, он очень устает – играет и в театре и в концертах, он должен платить много денег – за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет...

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам, при жэке встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовый, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!», но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спяну однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. «Да я таких! – шумел он. – Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовый, а Данилов не домовый, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовый Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съежиться на зиму в гербарии третьеклассника, а он по-прежнему ходил в собрание домовых и держал себя чуть ли не

героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски, молчали, а пили. «Скотина! – думали. – Была бы наша воля, мы бы тебя...», но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный угнетенник начал к ним ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соке гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

– Вы что, мной брезгуете, что ли? – спросил Георгий Николаевич с вызовом.

– Нет, – сказал Данилов. – Просто я соблюдаю правила гигиены.

– Что же, я заразный?

– Да, – сказал Данилов. – Вы заразный.

– Я больной, что ли? – растерялся Георгий Николаевич.

– Вы больной, – сказал Данилов. – Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру восемьсот сорок четвертого года. А бактерии ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов одел марлевой повязкой.

– А мне? – жалостливо попросил Георгий Николаевич.

– А вам не надо, – сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал.

– Что же вы плачете? – сказал Данилов. – Вам

лечиться надо.

– У меня друг погиб... растворился там, – Георгий Николаевич пальцем вверх указал, – мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь...

– Какой, простите, друг?

– Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита... Мы в жмурки вместе играли... Он под конец жил неправильно... Я ему правду в глаза говорил... И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь... Стыдно вам потом будет...

– Полно, Георгий Николаевич, – сказал Данилов. – Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

– Выдал! Выдал себя! – кричал Георгий Николаевич. – Из-за него, из-за слюнтя этого весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я – правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

– Уберите руки, – сказал Данилов, и Георгий

Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

– Я на тебя управу найду! – все еще кричал Георгий Николаевич. – Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж знаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал:

– Это тебе дорого обойдется...

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые снимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то

просветлели, словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом: «Спасибо вам... Вам-то можно было его оконфузить...» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович тот прямо заявил: «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты этого неверного друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу!» Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с Таганки, домовый в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность.

Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но главное – даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это

случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сгорел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «Экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом назавтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под

мышкой, предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуры подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы пироксилиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию.

Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой? Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель!» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после улета Ивана Афанасьевича место.

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например, о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление, но имелось и еще нечто, что пугало или по крайней мере настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егзой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим: «Це! Це! Це! Це!» Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок

раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от Брюсовых тиглей и посудин могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Непроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», – сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе и чуть ли не сознание

превосходства. «Экий гусь!» – думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться...» – сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич – сильный. Данилов даже засомневался: играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах вот ты как! – подумал он. – Да тебе эдак против Фишера играть... А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему...» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск. Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по

краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

– Здесь принято играть в силу домовых, – сказал Данилов. – Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

– Вы... вы! – нервно заговорил Валентин Сергеевич. – Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоль д'амур хотите играть, да у вас не выходит!..

Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел!

– Что вы понимаете в виоль д'амур! – сказал Данилов. – И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить.

– Значит, имею! – взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

– Вы нервничаете, – сказал Данилов. – Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, думал, и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный.

– Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу, – сказал Данилов, забирая белую пешку.

– Не угадали, Владимир Алексеевич! – рассмеялся Валентин Сергеевич. – Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять... Что нам с вами Георгий Николаевич? Он – правильный домовой. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес! Если это можно назвать интересом...

– А вы-то что суетитесь?

– Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое... Я о вас слушал и чуть ли не плакал. «Да и есть ли порядок?» – думал.

– Ну и как, есть?

– Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом.

Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

– Прямо как пираты, – сказал Данилов. – Еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка.

– Не в последний ли раз вы смеетесь?

– А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

– Нет, – словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. – Я – курьер.

– Вот и найдите свое место, – сказал Данилов.

– Какой вы высокомерный! – снова взвизгнул Валентин Сергеевич. – Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» – успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

– Ваш ход, – сказал Валентин Сергеевич.

– Да, да, – спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода,

совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам, просто так, – решил он, – а там посмотрим...» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями:

– Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня?!

«Что это он? – удивился Данилов. – Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что».

– Не выигрывайте у меня! – взмолился Валентин Сергеевич. – Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

– Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

– Батюшка! Благодетель! – бросился к нему Валентин Сергеевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись брезгливо, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

– Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! – думал Данилов, глядя на опаленные обои. – И чего он так испугался жертвы слона? Странно... А ведь бас-то этот кажется мне знакомым...»

Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», – вздохнул

Данилов. Хуже и придумать было нельзя...

4

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурюю воду, крики протеста звучали вослед нахалам таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с

потоками студеными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозным местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк подле палатки «Пончики». Мужчина был виден плохо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку,

разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки – и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решил подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

– Холодно, – сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

– Да, зябко, – кивнул мужчина.

Помолчали.

– Не кажется ли вам, – сказал Данилов, – что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

– Это еще не самые худшие дома...

– Не уверен, – сказал Данилов и, помолчав опять, начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: – Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня... У меня тяжело на душе... Мне сейчас выпить надо... А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

– То есть как? – растерялся мужчина.

– У меня все есть, – сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. – Вы, если не желаете, хоть только постоите рядом со мной...

– Ну что ж, – неуверенно сказал мужчина, – если вам нужно, чтобы я постоял...

– Вот и спасибо! – обрадовался Данилов. – Только давайте отойдем отсюда вон за тот забор. А то не ровен час – милиция или женщины-дружинницы. И по десятке сразу возьмут, и письма отправят на работу.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и

протянул стакан мужчине:

– Вот, пожалуйста, примите... Я больше не могу... Но не пропадать же добру!..

– Нет, нет, нет! Что вы! – заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

– А больше стакана вы и не хотели.

– Что? – как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

– Нет, нет, это я так, – быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровения, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через

час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! – думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть

нового заряда. – Ах как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

И тут он не удержался, а, махнув на все рукой, позволил себе созорничать – противу правил оделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак, по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения неся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если

бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился.

«Хватит! – сказал себе Данилов. – Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать...» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было predetermined прогнозом Темиртауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом.

Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть! – подумал Данилов. Однако он

почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. – Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть-то?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, и это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами

до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на Соборной площади в Сан-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы, ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять.

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах, в самом Париже и в пятидесяти лье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым веником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз», однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла,

выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости – и начался бум. Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья – и от «боингов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» – сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он скромно достал крылья от «Ил-18», ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов! Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие

приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других...

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была его хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спижонил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал, и раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал

их исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес пронизательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-нибудь потом да и забыть обо всем... Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза.

Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали?

Ведь хуже его есть личности – и живут себе, и никто их не трогает...

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил?

«А-а-а-а! Что гадать-то! – подумал Данилов с чувством обреченности. – Гадай не гадай, а исход один...»

Он был нервен, печален, купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но, главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать да как-нибудь и судей и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца...

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» – думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось

невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволия Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно – из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгнула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый

лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище – ведь по людским понятиям он родился в конце восемнадцатого столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконнорожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принимались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу-ты! Человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесаная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в Седьмом Слое Удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но

потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в Обменный Фонд. Ну, ладно, гусь и старушка! Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лица Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался нелишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все – и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это – в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и

самому, как то делали люди. С любопытством, дотошностью и учением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лица на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у врачей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со

рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Это было унижительно! То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися к лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило! Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к

ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, – иначе не иметь ему стипендии! – Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» – спрашивали. «Да уж чего проще, – говорил Данилов небрежно, – сны-то им золотые навевать!» – «На шелковые ресницы, что ли?» – «Ну если желаете, то и на шелковые...»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг – раз! Жизнь его круто изменилась.

И порядок-то остался старый, но из недр его

нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» – раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение, среди многих прочих: Данилова как неполноценного демона отправить на вечное поселение, на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в тысяча девятьсот сорок третьем году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом – оркестр на радио, потом – театр. Оттого, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать

земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась – Тот Свет, а иногда и – Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из канцелярии. Сонные чиновники там, наверху, Даниловым были недовольны, ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов скрепя сердце вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов, при этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от канцелярии молока за вредность. Из канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную, внутреннюю вредность, или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности, и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что

его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра Земли.

Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодчества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.

Данилов не верил, думал, что над ним

издеваются, а его вызвали в Канцелярию от Порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора.

Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны не чем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой: заключить с Даниловым договор, с сохранением Данилову демонического стажа, и считать его отныне демоном на договоре.

Но мало ли что могли предложить теоретики, не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в Девяти Слых о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходятся без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным,

светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих Девять Слоек, не делал, критик не наводил, арий не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны.

Но Данилову все это не было сказано. Его бранили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении Канцелярии от Того Света. В третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится – в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо – Земля», часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет, никогда и нигде, даже и в парной в Сандунах, его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось.

На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней – буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н»

чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений, Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали.

Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл отправить в управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши, — это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из управления

теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них! Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат – рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы – для особой крепости раствора (он ждал Муравлевых на пельмени). Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом.

Все шло ничего, вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только Канцелярия от Наслаждений довольна им. С точки же зрения его Канцелярии от Того Света, он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, тыкали носом в статьи договора, уговаривали не позорить честь непорочной канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал

исправиться. Однако не менялся.

Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к останкинским домовым, по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестья – это демона-то и к домовым! А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унижительное свое положение. (Впрочем, теперь он бывал у домовых редко. Но это – из-за занятости музыкой.)

Суета человеческой жизни опять захватила его, он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет как идет. И вот – дождался! Явился порученец Валентин Сергеевич, или кто он там на самом деле, и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч».

Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог.

«А ведь они мне дают срок что-то предпринять, – думал Данилов. – Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедля вызвали в судилище... Хотят, чтобы я сделал выбор... Это еще не конец... Время есть... Что-нибудь, а придумаю... Правда, не сейчас... а потом...

потом...»

Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал.

Но вскоре его разбудило хрипкое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший – и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк! Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное бы, удивил – он был ростом с теленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь – завелся он в Египте во времена Изида и Озириса и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем Музыка и Танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось. Кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих.

– Здравствуй, Володя, – сказал Бастер. – Я тебе не помешал?

– Здравствуйте, – кивнул Данилов. – Я рад вас видеть. Я так... вздремнул...

– Хорошо, – сказал Бастер. – Я посижу молча.

Данилов закрыл глаза, говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни – и тут кота можно понять, но вот отвечать ему будет невмоготу. «А отчего же потом-то искать выход? – подумал Данилов. – Надо решить теперь же, непременно теперь...»

Но тут как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимоно проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Кот Бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе не кстати. Когда-то между ними была страсть, от страсти той

таял лед в Гималаях и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах Курил. И теперь Химеко иногда волновала Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидания с Химеко, теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю. Но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жребием, принял ее обычай, называемый цумадои, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких, гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было! Кабы вернуть те хмельные полеты юных лет!

Химеко все стояла молча и глядела на Данилова, была покорна, словно его раба, чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет! Ни в коем случае! Нынче не до баб!.. Разве примешь с ними важное решение!» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола.

А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими руками кимоно и вскрикнула.

Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов в глубь пещеры, там и замерла в забытьи. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку – и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в

извилиных возникших на ней трещин читала судьбу Данилова – и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» – и исчезла.

– Постой! Не надо! Не делай этого! – Данилов, вскочив с лежанки, крикнул вслед Химеко.

Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил – и нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его Дзисай, или несущий печаль! По древнему обычаю, Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай, как, впрочем, и Дзисаи по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую, отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс», было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, не ел ничего он мясного, даже и из консервных банок, а на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова или бы он

опасно занемог, сейчас же Химеко должна была бы объявить Дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химеко унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный.

«Дела мои, стало быть, плохи, – пришло ему на ум, – может, и выхода нет...»

Но снова послышалось хриплое мурлыканье – и возник кот Бастер, покровитель Музыка и Танцев.

– Я потихоньку посижу, – сказал Бастер.

– Сидите, – кивнул Данилов.

Но тут произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия, теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано: «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со

своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое, жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он, и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник не предсказанный учеными ураган, он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Памела». Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.

5

В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по-журавлиному.

Муравлев, ворча и подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать.

На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексеева.

– Ну проходи, – сердито буркнул Муравлев. – Любишь ты эти магазины. Часами готова в них бродить.

– Что же делать? – вздохнула Тамара.

Муравлев рассмотрел покупки, пиво было «Жигулевское» и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай:

– Пива могла бы взять и больше.

Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив от булочки половину, сказал:

– Данилов звонил.

– Он каждый день звонит, – сказала Тамара, – да все заехать нет времени.

– Сегодня заедет.

– Надо же! – обрадовалась Тамара. – Я точно предчувствовала, фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю: стоит. И я подумала: вот бы Данилов пришел к нам на лобно.

– Придет, придет, – дожевывая булочку, сказал Муравлев. – Ты хозяйничай, а у меня работы много.

Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату

своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и, пока он тер глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей проницательного профессора Деревенькина, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье.

– Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? – вспомнила Тамара.

Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу:

– С деньгами? Да все так же... Даже хуже, по-моему.

– Он сказал?

– Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова...

– Что же нам делать?

– Я не знаю, – сказал Муравлев. – У меня будет приработок... И ты хотела решать с шубой...

– Да, – вздохнула Тамара, – с шубой надо решать.

Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых

рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое и надо было глядеть раньше, – шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет – теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н. Д. Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то чтобы шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее – и надо было действительно с шубой что-то решать.

Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три

тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворенный певучими руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то и за другое жилье он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то! Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче оттого, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но, когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь! – радовалась она и

добавляла: – Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?» Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи.

Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент, ценой в триста рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни, Данилов хотел было продать его, но потом посчитал: а вдруг пригодится? Звук у альта Альбани был волшебный. Полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы альтиста Гансовского, вел неистовую, только что не рукопашную, борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! Как нес он его домой! Будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принесся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гансовского даром в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к

нему часа два не мог, робел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина – и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу Дариуса Мийо, и она вышла, тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все, – говорил он себе, – все!» Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином! Он ощущал себя его повелителем! Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости.

Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний и нижний порожек, и гриф, и подставка из клена крепятся ладно, а после – сухой ладонью

прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в Больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность оббегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно! Во всем была гармония, как в музыке! Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все он помнил! Данилов опять сыграл пьесу Мийо, а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент.

Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра! Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям

по эстафетной системе – у одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации ссуд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным семьсот рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как ни мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым – и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо, что вечернего спектакля у него не было.

Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И лобии напрасно жарилось на газовой плите.

С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции – такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жэковскими книжками в руках – над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не кутежами, а коммунальными платежами!» Данилов сам платил, укоряя себя: уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема

стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилов повезло, приемщица, важная, как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-то сними, не порть!» Данилов исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать.

В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел гобоист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр!» На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Словенского «Хроника пикирующего бомбардировщика», дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее,

но и сам он собой, и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать гобоиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу-ты! – расстроился Данилов. – Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы!..» Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска, он был ее любимец, она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гойе и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна! Волшебница вы наша!» – шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечающая за вечернюю сеть. «А вот, Володя, – сказала Николева, – план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя, сочли, тут есть работа». – «Хорошо, – сказал Данилов, взяв бумагу, – я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. «Пойдем, пойдем, – сказал Санин. – Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру».

Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова.

– Володенька, – нервно заговорил Мелехин, – я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю...

Мелехин заведовал клубной работой в

богатом НИИ и умолял Данилова часто.

– Что надо-то? – спросил Данилов.

– Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером...

– Сегодня вечером не могу... Меня люди ждут...

– У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь... У нас платят хорошо, у нас же наука, не то что у вас, искусство... Выступающие без тебя зазря приедут... Профессора, искусствоведы... Десять персон... А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машина написала... Для сравнения... Тебе же самому интересно сыграть будет... Опусы-то написаны специально для альта...

– Для альта? – удивился Данилов.

– Для альта! – почувяв, что клюет, воодушевился Мелехин. – Машина для альта писала, ты представь себе! Десять персон профессоров явятся из-за одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили! А каково это тебе, с твоей-то совестью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу...

– Я подумаю... – сказал Данилов неуверенно.

– Что думать-то! Ровно в семь будь у меня,

ноты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям.

– Ну ладно...

– Вот и хорошо! Ты меня спас! А то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати твой знакомый, Мишка Коренев неделю обещал, а в последнюю минуту, мерзавец, отказался... В семь жду!

Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша Коренев – скрипач из эстрадного оркестра...» Однако соображения эти были уже лишние.

В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плиссировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать «Серенаду солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседавал на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой

женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал:

– И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, поедем вместе. – И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой волнующей душу кухни.

Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты:

– У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа... А Мишка-то Коренев какой стервец!

Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку.

– Вот, Володя, знакомься! – обрадованно сказал Мелехин. – Знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу...

Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых и к тому же,

сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль.

– А это, Володя, моя подруга по работе, – сказала Екатерина Ивановна, – Наташей ее зовут.

– Володя, – протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы.

Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу Золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко:

– Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать...

– Хорошо, хорошо, – сказала Екатерина Ивановна, – мы не будем тебе мешать.

А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилося ретивое.

«Что это со мной? – думал Данилов. – Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами – и все в моей жизни изменилось?.. Ведь выпадают же

иным людям чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновенье не испытать... Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней, а вот вошла она – и стало легко, и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко-о-о... Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней...» Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза и то, как она смотрела на него, вспоминал и еще нечто неуловленное им сразу в ее облике... Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности.

– Сергей Михайлович, что это? – воскликнул Данилов.

– Что? Где? – искренне удивился Мелехин.

– Вот это! Ноты!

– Это ноты, Володенька!

– Я и сам вижу, что ноты! – вскричал Данилов. – Но написаны-то эти пьесы не для альты, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то!

– Тише, тише, Володенька, – взмолился шепотом Мелехин. – Ну виноват. А еще больше виноват стервец Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще черт знает что!..

– Ну и я не могу, – сказал Данилов, – у меня альт, а не скрипка.

– Сможешь, Володенька, ты все сможешь, ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на скрипке или на пожарном брандспойте...

– Все это мне, как музыканту, – сказал Данилов, – слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же.

– Нет, нет, я, может, не так что сказал, я – открытая душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!

И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во гневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных.

– Ну хорошо, – сказал Данилов. – Но я в последний раз терплю ваши обманы.

– Ты же интеллигентный человек, Володенька! – умилился Сергей Михайлович.

Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, развернул ноты и подумал: «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было поднимать шум – и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.

Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестя перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали.

Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова и в

случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин.

Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали б теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсенского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалело уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не

разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя менуэт. Опустилась еще метров на пять. Чащарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.

«Ну нет! Хватит! – отругал себя Данилов. – Экое мальчишество!» Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. «Шутник какой нашелся! – никак не мог успокоиться Данилов. – Будто юнец безрассудный!.. А ведь это я из-за Наташи! – пришло вдруг Данилову в голову. – Оттого я юнец, что Наташа здесь!..»

Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на десять – пятнадцать минут

звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей.

– А теперь мы попросим, – сказал конструктор Лещов, – солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес, восемь из них написала машина, восемь люди с консерваторским образованием. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определяют, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше...

Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора: не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания, он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал:

– Извините, но это не скрипка. Это – альт.

– Альт? – удивился Лещов. – Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука.

– Ничего, – успокоил его Данилов.

Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он подумал: а вдруг Наташа ушла из зала и он ее никогда больше не увидит? Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него, и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен, недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством, в третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пюпитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой, – думал Данилов, – как хорошо-то! Так бы всегда было!»

И когда умер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после

Китриных прыжков Плисецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить: «Зачем вы? Не надо! Не надо... Посидите тихо... Не распугивайте мои звуки, они еще где-то здесь, они еще не отлетели...» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно:

– Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь, после третьей пьесы я хотел сбежать... Мишку Коренева клял, негодя и предателя. Но тут ты начал! Как ты играл! Ты всю душу мне вывернул! А ведь в нотах-то дрянь была, мура собачья!..

– Мура, – кивнул Данилов, – мура...

– Вот, держи, – сунул Мелехин Данилову конверт, – увидишь, мы не скупые...

– Что это?

– Деньги!

– Какие деньги? – не понял Данилов. – При чем тут деньги...

– Ну бери, бери, – сказал Мелехин, – не валяй дурака!

Тем временем конструктор Лещов выпрашивал у публики, какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина. Люди посмелее

выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что, напротив, все сочинила машина, и она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесаным, хотели запретить ему смотреть «Серенаду солнечной долины». Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, гибельные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих пристыженный. Но началась дискуссия.

Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске, скорей всего проницательный профессор Деревенькин, судили о музыке и другие умы. А Данилов их не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный... Сила, тонкая и серебряная, из него изошла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и

горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортани и его легких рождался звук. «Как играл-то я хорошо! – опять удивился Данилов. – Отчего это?..» И тут он испугался, подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние.

Но нет, пластинки были на месте, пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец! – сказал он себе. – Скотина ты, Данилов! Можешь ведь! Раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь! Только ведь тут одного умения мало и таланта мало, тут ведь и еще нужно нечто... Вдохновение, что ли, нынче снизошло?» Наверное, согласился Данилов сам с собою, снизошло. Отчего же ему и не снизойти... «А ведь я для Наташи играл», – подумал Данилов.

– Попросим теперь солиста театра, – услышал он голос конструктора Лещова, – поделиться мыслями о музыке, написанной машиной...

«Да при чем тут машина! – хотел было сказать Данилов. – Дура ваша машина. В душе моей музыка была!» Однако вымолвил неуверенно:

– Что же... Ну в общем... Спасибо ей, машине...

– Ну вот! – обрадовался Лещов. – Вот и музыканты начинают здраво судить о будущем, не

первый уже...

«Кончили бы они эту болтовню! – взмолился Данилов. – А я бы нашел Наташу...»

Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул:

– Ну что? Едем сейчас к Муравлевым? А? А то ведь стынет там...

– Они вас пригласили? – спросил Данилов строго.

– Ну... – замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия.

– Вот и поезжайте, – сказал Данилов. – И передайте им мои извинения. А я не могу... Я давно не видел «Серенаду солнечной долины»... Это ведь музыкальный фильм.

– Ну да. Поезжайте... – засопел с тоской Кудасов. – Без вас они выставят на стол всякую дрянь...

Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже, карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет «Волки и овцы».

Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном (если не считать очереди у буфета) фойе он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся и увидел Наташу.

– Это вы... – растерялся Данилов. – А где же Екатерина Ивановна?

– Она в зале, – сказала Наташа. – А мне показалось, что вы сейчас уйдете и я вас больше никогда не увижу. Я и вышла. Спасибо вам за музыку!..

– Вам понравилось?

– Очень! Я давно так не чувствовала музыку...

– Вы знаете, – застенчиво улыбнулся Данилов, – отчего-то у меня сегодня получилось...

– А мы вам с Катей место держим... Вдруг вы решите остаться на «Серенаду».

Помолчав, Наташа вдруг спросила:

– А Миша Коренев? Отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала...

– Вы знаете Мишу Коренева? – удивился Данилов.

Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви, двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал, кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас, Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не

рассеянно, и даже громкие, счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей и это главное. «Что происходит-то со мной? – думал Данилов. – Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки. Беспечны и азартны, как игры. Если ж случалось мне робеть, так это – в первые мгновения. А сейчас все во мне трепещет – эвон! – уже целый вечер! И не видно этому трепетанию конца... И хорошо, что не видно! Неужели это – наваждение? А вдруг интрига какая?» Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил.

Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене, после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила, и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа.

Кончился фильм, Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды Кудасов и, все поняв, скрылся в досаде, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей.

– Я живу у Покровки, – сказала Наташа, – в Хохловском переулке.

– Это же мои любимые московские места, – честно обрадовался Данилов. – Переулки в Старых Садах. А уж ночью взглянуть на них – одна радость.

– Вы проводите меня! – подняла голову Наташа.

– За честь сочту, если разрешите.

Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым, асфальтовым полем Хитрова рынка добрались до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к Хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше – длинный, голубой днем, штаб эсеров, разгромленный в августе восемнадцатого и ставший нынче детским садом, а в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гудом нотопечатня Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала. Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, о путанице горбатых переулков, он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У Троицы в Хохлах, блестящей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулоч, к палатам гетмана Мазепы.

– В том большом доме я и живу, – сказала Наташа.

– Вот ведь судьба! – сказал Данилов. – А я часто тут бываю. Брожу по холмам, когда устану.

– А вы не знаете, – спросила вдруг Наташа, – отчего Миша Коренев отказался играть?

– Я не знаю. Вы из-за него пришли?

– Нет. Я и так бы пришла. Но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то о Паганини и еще...

– Вы с ним дружите? – спросил Данилов, он уже испытывал ревнивое чувство к Кореневу.

– Да... мы... дружили... – замялась Наташа. – Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми... Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком, в театр, девчонкой была, мечтала стать актрисой...

– Теперь вы актриса?

– Нет. Я – лаборантка. Мы с Катей – в одном НИИ. Как все это давно было и как все грустно кончилось!..

Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней, думал: «Что же нравится-то мне в ней? Да все! И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос... Я и не знаю ее совсем, я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна... Я не знаю... Да и все мне равно...

Разве могу я теперь исследовать свое чувство... Тогда и чувство-то исчезнет... Нет, я знаю уже: она хороший и добрый человек... Она по мне человек... А впрочем, какое это имеет сейчас значение...»

– Вот все, мой подъезд.

– Я теперь буду искать встречи с вами, – выдохнул Данилов.

– И я, – серьезно сказала Наташа.

Данилов правой рукой (левой он удерживал инструмент) коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и, робея, но и решительно, привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее ответе.

Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула.

«Эдак и голову потерять можно!» – подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет.

Он бросился по лестнице вниз, оглядывая тщательным образом, будто собака Карацупы, все

марши и площадки. Нигде инструмента не было.

Он выскочил на улицу. Осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей и где, как он помнил, инструмент еще был с ним, однако поиски его были тщетными.

Инструмент исчез.

6

Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев, панихида завтра в двенадцать на улице Качалова, а похороны в Бабушкине, в два.

– То есть как? – прошептал в трубку Данилов.

Флейтист Бочаров сказал, что он сам толком ничего не знает, его дело обзвонить теперь знакомых, известно ему лишь только то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры, а она на пятом этаже кооперативного дома возле метро «Щербаковская». Оставил он записку «Прошу никого не винить...» на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на пюпитре же были ноты Двадцать первого каприса Паганини. У тех, кто вошел в квартиру первыми, создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну.

– Он вроде женат был? – спросил Данилов.

– Да, – сказал Бочаров. – У него жена и две девочки. Если сможешь, завтра приходи.

– Хорошо, – сказал Данилов. – Я отпрошусь.

Долго он не мог подняться. Потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение.

«Он и Наташе написал что-то о Паганини! – вспомнил Данилов. Но тут же подумал: – А была ли Наташа-то?» Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь и Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная.

В милиции он подал заявление о пропаже альта, попросил инструмент отыскать. И страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал и вещи, найденные в метрополитене, но инструмента нигде не обнаружилось.

В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлева.

– Вова, – сказал Муравлев, – мы снесли шубу в комиссионный. Так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт.

– Спасибо, Витя! И Томе передай, пожалуйста, мою благодарность, – растроганно сказал Данилов. – Вы уж извините, что я вчера вас

так подвел.

– Да ладно, – сказал Муравлев великодушно.

В оркестровой яме явление Данилова с дешевым, разжалованным было альтом вызвало удивление. В яме Данилова любили и муки его при осаде вдовы альтиста Гансовского принимали близко к сердцу. В звуках настраиваемых теперь инструментов внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии.

Данилову было скверно, ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. Надежда эта и так уж трепетала последним осиновым листом. В милицию Данилов подал заявление на всякий случай, для душевного успокоения. Да и страховые люди послали бы его подальше, кабы он им сказал, что в милицию не ходил. Иногда ему все же казалось, что какие-то тени мелькали в тот вечер в Хохловском переулке и будто кто-то следил за ним и Наташей из-за угла. В одно мгновение Данилов подумал: а вдруг это электрические гитаристы, разглядев его альт, потеряли голову? Но нет, Данилов отогнал это подозрение как нелепое и мелкое: ведь и парни с кружевными манжетами были музыканты. «Эх, если бы действительно какой жулик украл мой

альт!» – мечтал Данилов. Уж тут-то бы альт сыскался – в милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если и случился тут жулик, то уж жулик особенный. Не честолюбивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему, Данилову, лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение?

Если снова его дразнили или испытывали в приближении времени «Ч», то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окунись сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности, отыскать следы инструмента. Но Валентину-то Сергеевичу, а главное, тем, кто за ним и над ним стоял, это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно и все ждали, когда Данилов отчаётся и проявит свою нервозность.

Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на Земле только человеком. А то ведь мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он бы явил, но оказался бы с

людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен отступить от своего решения.

«А может, оно и к лучшему, – подумал вдруг Данилов, – что Альбани мой исчез? На Альбани-то и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать как на великом». Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за триста рублей.

«А ведь мелким делом занялись они, – подумал Данилов. – Хотя если Наташа была вчера не сотканная из флюидов, то и дело тут не мелкое...»

Сыграли «Дон Карлоса», расходились усталые. Запасной альт дурных слов от хозяина не услышал, прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват?

«А Миша Коренев, – думал Данилов, – премудрые загадки Паганини пытался одолеть без помощи Страдивари. Не было у него Страдивари, а была простая фабричная скрипка... Ему-то теперь – все равно... А для нас – все его муки остались...»

В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала

гибель музыканта. Что с Корневым стряслось – об этом только гадали. В консерватории Данилов с Корневым особо не дружил, в последние годы виделся с ним раза три, однажды – в концерте, а как-то – в Марьинских банях, сначала в парной, потом – в очереди за пивом. Был между ними разговор, удививший Данилова, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Корнев дружил с Наташей, при условии, что Наташа существовала.

Назавтра на панихиду он не поехал, а идти ли на кладбище – колебался. Он не любил похорон. Однако пошел. Мишину могилу он отыскал не сразу, увидел наконец скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойный, не искаженный ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, а жестоких камней тротуара не коснулся. Худой остроносый человек читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилову, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой, в отдалении, у зеленой скамейки, увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся. Подойти к Наташе теперь он посчитал неприличным, так и стоял к ней спиной. Видение, думал, она или –

земная? Сейчас он был почти уверен, что – земная.

Остроносый человек кончил читать стихи. Стало тихо. Только перекликались зимние птицы. «Они вот поют, – думал Данилов, – и им все равно, есть ли у них талант, гений, зря ли они живут птицами или не зря. Они поют, и все. Тут всем все равно. И место-то какое ровное под тополями и березами. Всюду равенство...» Прежде, вчера и сегодня утром, Данилов ощущал смерть Миши Коренева скорее умозрительно, и Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за тридцать шесть лет, и для Данилова смерть из вчерашней холодной отдаленности подступала злой обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Данилова. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек, жалел Наташу, жалел жизнь. Жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь, над гробом Миши Коренева, обманы рассеивались.

Тем временем пятеро молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вскинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающая примирить, трое могильщиков застыли,

облокотившись на заступы, смотрели на музыкантов с интересом и без иронии. Чья это музыка, Данилов отгадать не смог, слышал он ее впервые, кто-то сказал рядом: «Это Мишина композиция». То, что Корнев писал музыку, было для Данилова новостью, и сейчас он, помимо своей воли, стал прислушиваться к ней так, будто сидел в концертном зале и хотел определить, хорошая эта музыка или плохая. И он понял, что в концертном зале он посчитал бы эту музыку посредственной, теперь же и здесь она была сильной. Рыдания стали сопровождать ее.

Но только лишь стихла музыка, стихло и все. И прощались с Корневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Корнева вдруг вскричала, обращаясь куда-то ввысь: «Будь проклята ты, музыка!» Ее принялись успокаивать, одна из девочек прижалась к матери со словами: «Не надо, не надо, мама!», но вдова все кричала: «Будь проклята ты, музыка!» Данилову стало жутко. И тут вдова ослабела, опустилась на принесенный кем-то табурет и застыла.

Бросив ком мерзлой глины на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники, насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суэта, стучали лопаты о ледяную землю, люди хлопотали с венками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выпрашивали,

что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-зеленой масляной краской, и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов встал возле ограды, говорил всем проходившим:

– Будьте осторожнее, прошу вас, свежая краска!

– Ах! – махали руками иные. – До этого ли теперь! Тут вечное, а это – сиюминутное!

Однако и философы старались не запачкаться.

Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и никаких намерений не проявляла подойти ни к Данилову, ни к могиле. Держала в руках красные и белые розы.

Данилов стоял и слышал:

– Венки-то, венки влево заносите...

– ...не знаю, по три рубля, что ли...

– Ни дирижер не пришел, ни первая скрипка, ни Тормосян. Даже и на панихиде не были...

– Кабы естественным образом ушел, тогда бы пришли... А так еще неизвестно, что он имел в виду. Выбросившись из окна...

– Вот там под липой на могиле руль от грузовика вместо памятника. Неужели и Мише скрипку положат?

– Вряд ли. Он ведь от нее бежал-то, от скрипки. Испугался, что ли, ее...

– Не болел он разумом?

– Да нет, тих был в последнее время, в себе что-то таил, но ничего этакого не было. Только выпивши иногда говорил: «Посредственности все мы, посредственности, так и умрем посредственностями. Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил?»

– Миша ведь и позавчера хотел одолеть Двадцать первый каприс Паганини.

– Накануне он мне что-то твердил про машину. Мол, скоро машина будет писать музыку и исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним...

– На поминки пойдешь?

– Нет, я вечером где-нибудь напьюсь... В ресторане или дома... Сейчас мне на запись, в Останкино...

– Пойдем... Вон автобусы у входа...

Подняли и вдову, повели с кладбища.

Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик, чуть присыпанный снегом, розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла, подруги повели ее к воротам.

Данилов дождал Наташу.

– Вы со мной сегодня не говорите ни о чем, – сказала Наташа. – И не провожайте меня. Но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон.

И, протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, видно не желая быть замеченной вдовой Коренева.

У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина.

– Что это? – растерянно спросила вдова, не здесь она была, и неизвестно, что видела перед собой теперь.

– Это, знаете ли... – смутился Данилов. – Ваш муж выступал в нашем НИИ, и это деньги, какие мы ему остались должны...

– Кто вы? – спросила вдова.

– Я Мишин знакомый, – сказал Данилов. – Я работаю в НИИ... в клубе...

– Спасибо, – сказала вдова. – Вы садитесь с нами в автобус, у нас дома мы помянем Мишу...

Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Но хотя там уже и сидело много знакомых, желания ехать на поминки не было. «Лишний я там буду», – думал Данилов. Но он был рад, что вдова приняла деньги и что дело, необходимость исполнения которого мучила его весь день, вышло просто и без неловкостей. Автобус свернул с

проспекта Мира, не доезжая до станции «Щербаковская», остановился возле известного Данилову белого дома с лоджиями, и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул.

«Пойду-ка я сейчас в Марьинские бани, – решил Данилов, – благо они напротив, выпью пива, если повезет...» Именно в Марьинских банях он и разговаривал в последний раз с Мишей Корневым.

Пиво в банях было.

В темном буфете с мочалками, мылом на прилавке и пивным краном, над всем царившим, народу набилось множество, как, впрочем, и всегда в будние дни. Стояли строители в мазаных робах, продавцы из «Бытовой химии», тогда еще не сгоревшей, мастера с «Калибра», кого тут только не было! Морщинистая, седая продавщица, известная как баба Зина, отстоя пены не ждала, умиряла инвалидов, лезших без очереди, то и дело выкрикивала: «Кружки! Кружки! Мальчики, не держите кружки! Кто с бидонами, тем буду наливать!»...

Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пива на спины любителей, две кружки поставил на доску-стойку, обегавшую помещение, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю пустил обратно к бабе Зине.

– Парень, аршин есть? – толкнули Данилова в

бок.

– Что? – растерялся Данилов.

– Ну аршин, я спрашиваю, есть?

– Нет, стакан я с собой не ношу, – сказал Данилов сердито и отвернулся к стене.

«Вот так же мы и стояли здесь с Мишей год назад, – подумал Данилов, – и стакан у нас спрашивали, может, тот же самый человек и спрашивал... А Миша ему тогда сказал: „Заведи складной!“

Миша в тот день был грустен, пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов воблой его угощал. И вобла-то была с икрой. Но Миша то и дело застывал взором и усы, роскошные, д'артаньяновские, щипал, да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клочок. Разговор поначалу шел тихий и вечный, какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга: как живешь, где и кем работаешь, сколько получаешь, есть ли дети (о женах вопросов не возникает, да и к чему они?), какая квартира, как с машиной. Миша спрашивал и сам отвечал, а Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши крепкие, денег он добывает вдоволь, несколько лет подряд ездил на гастроли на Восток и на Север с ансамблями и певицей, играл и пел сам в биг-битовой манере, в иные месяцы имел

за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и квартира, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул резко, пиво расплескал, заговорил жадно, зло, неважно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета Марьинских бань. «Хватит, хватит, хватит! – говорил Миша. – Хватит мне всего! И денег, и женщин, и развлечений, и комфорта! Это все шелуха, целлофан. Это все средства существования! А само-то существование – где? Где оно? Рано или поздно, но все мы оказываемся наедине с жизненной сутью – и что мы тогда? Ничто! Жизнь проиграна, Данилов! Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь, в чем моя земная суть... А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал... Все... Я не верующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили: „Любовь изгоняет страх... Боящийся не совершен в любви...“ Ты понял? А я боялся, легко оправдывая свою боязнь, и жил легко, я боялся и был не совершен в любви – и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то что не люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку! Хотя нет,

музыку я еще совсем не разлюбил... Тут у меня остался единственный шанс... Я еще смогу... Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский?» Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Мише и кивка не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев, и он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. «Вот, смотри! – сказал Миша. – У Паганини руки и пальцы были длиннее, но я теперь компенсирую это тем, что у меня...» Однако Миша не закончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика, в глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. «Ну ладно, – сказал Миша, – мне надо идти» – и он быстро, с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет Марьинских бань. Лишь с последней ступеньки крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы: «Помни! Боящийся не совершен в любви!» И исчез.

Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова, но, если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке, Мише он мог только сочувствовать, но

что тому его сочувствие. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах «Спартаку». Теперь Данилов вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом.

– Скрипка никому не нужна?

Немытый опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небритый волос его был бел и мягок, лежал на щеках пивной пеной. Инвалида гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, без всякого к нему сочувствия, как и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс, лез без очереди к пивному крану.

– Скрипка никому не нужна? А? За бутылек отдам!

– Какая еще скрипка?

– А я почему знаю какая. Скрипка, и все. Со струнами. В футляре. Большая скрипка. Футляр – дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. Четыре рубля, и больше не надо.

– А на кой, дед, мне скрипка-то? Или вот ему?

– Сыну купи, о детях-то думай, не все пей! Бантик ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стену вколачивать,

она крепкая. А то можешь на струнах сушить платки или кальсоны.

– Дед, сознайся, спер ты скрипку-то!

– Упаси Бог! Я Геринга на процесс в вагоне возил. Никогда не ворую. В своем дворе нашел, на Цандера, на угольной куче. Так и лежала. Я во дворе обошел всех музыкантов. Кто на баяне играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве, а скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу. Поллитру, и все. Но уже не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрыну-то эту с футляром.

– Иди-ка, дед, отсюда, здесь не подают.

– Простите, – сказал Данилов, – а где, собственно, ваша скрипка?

Инвалид осмотрел Данилова, оценил, видимо, его тихую интеллигентную натуру и сказал:

– А за дверью. Здесь с ней не протолкаешься.

Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе и разговоры инвалида воспринимал рассеянно, краем уха. Теперь он шел за ним в волнении, почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани, тут на мерзлой земле, дурно к тому же пахнувшей, Данилов увидел свой альт.

То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр, альт и обнаружился.

– А платок где? – заикаясь, спросил Данилов.

– Какой платок? Какой еще платок? – удивился инвалид, но отвел глаза.

– Там платок был, – сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее.

– Никакого платка! Никакого платка! – сердито забормотал инвалид. – Не хочешь скрипку брать – не бери!

Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он, ворча, стал закрывать футляр, да и о платке ли стоило беспокоиться Данилову! А он не знал, что ему делать. Заявить инвалиду, что это его, Данилова, инструмент и, выхватив альт из рук отставного проводника, уйти с ним или убежать? Инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым и его самого, несомненно, помяла бы, и альт, уж точно, искалечила бы до потери звука. Вести же инвалида в милицию, в пятьдесят восьмое отделение, что возле магазина «Диета», тоже было предприятием неверным – инвалид с альтом мог утечь по дороге. Оставалось – альт выкупать.

– Сколько вы за него просите? – сказал Данилов.

– За кого – за него?

– Ну, за нее...

– Сколько, сколько! Сколько стоит. Поллитру.

– Ладно, – сказал Данилов.

Он стал рыться в карманах и нашел рубль с мелочью. «У меня же были деньги, – растерянно думал Данилов. – Я же с деньгами вышел...» И тут он вспомнил: да, деньги у него были, но он их отдал вдове Миши Коренева.

– Вы знаете, – в волнении сказал Данилов, – четыре рубля у меня не набираются...

– Ну хорошо, – сжалился инвалид. – Гони три шестьдесят две, и ни копейки меньше. И так без закуси остаюсь.

– У меня всего рубль с мелочью...

– Ну нет! – возмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой. – За такую-то большую скрипку! Это на самый дерьмовый портвейн! Сам и пей!

Данилов взял инвалида под руку, заговорил ласково:

– Знаете что, поедемте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять поллитр дам...

Подозрения, возникшие, видно, в инвалиде, теперь укрепились и разрослись, он отодвинулся от Данилова подальше в уверенности, что этот хитрый бородач заманивает его в гибельную ловушку.

– Другого дурачь! – зло сказал инвалид. – Нету четырех рублей – ну и иди гуляй.

– Я вам через сорок минут привезу! –

взмолился Данилов. – Вы только подождите.

– Если я через десять минут стакан не приму, меня врачи не поправят. Организм ослаблен после вчерашнего. Я эту скрипку через десять минут крушить стану.

И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет.

– Пойдите! – вскричал ему вослед Данилов.

Но инвалид был непреклонен.

«Что же делать? Что же делать?» – судорожно думал Данилов. Не хотел он, ох как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать альт, знал, что потом долго будет корить себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя, малодушного, чуть ли не топал на себя ногами, но услужливое соображение: «на мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то!» – все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком «Н» вперед, поймал в воздухе две мятые бумажки. Кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете, инвалид пил пиво.

– Вот! Держите! – вскричал Данилов.

– А уж я загнал! – рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку и рубль.

– Кому? – ужаснулся Данилов.

– А леший его знает! Маленький такой в

кроликовой шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил. И на кружку дал. А ты жмотничал, деньги прятал...

– Куда он пошел?

– Куда пошел, туда и пошел. Мне-то что! Хоть бы и в Африку. Я вот в магазин!

Кинулся Данилов на улицу, в одну сторону пробежал, в другую, нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от Марьинских бань! Тот уж человек с покупкой сел, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. Одно лишь было у него приобретение – на некий туманный след он мог указать уголовному розыску. И тут из-за кирпичного угла Марьинских бань высунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками, высунулась, показала Данилову красный язык и исчезла.

«Вот оно что! – понял Данилов. – Дразнят меня! И дразнят-то глупо, а вот провели как ребенка! Им только и надо, чтоб я ответил. Терпи, Данилов, терпи. Как друга прошу, терпи. И так уже вляпался, хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля, а все втравился в их развлечение. И не то плохо, что они получили удовольствие, пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет,

все. Альт для меня должен перестать существовать. Нет Альбани, и все. И не было. И не будет...»

Однако Данилов посчитал, что все же не лишним будет зайти к следователю в милицию и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича?

Вечером играли «Лебединое». Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа виделась ему бедной заколдованной лебедью, и Данилову хотелось пойти и разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре по желанию Петра Ильича отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен, утих перьями на подметенном в антракте полу, музыка воссияла финалом. Зажглись и электрические огни. Чуткий на ухо дирижер за сценой подошел к Данилову, сказал ему: «Спасибо!» Данилов удивился, он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от дирижера одобрения не ожидал. «Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр», – добавил дирижер, поклонился и пошел по коридору. «Он-то, наверное, думает, что при мне Альбани...» –

пришло в голову Данилову. Отрадно было то, что слов дирижера никто не слышал...

Банное явление все вернуло на свои места. Что Данилову было дорого – по тому и били. Пока были довольны альтом, а узнали бы про близкого человека – и человека этого тут же бы смяли ради своих холодных забав. Даже если сейчас Наташе плохо, даже если он ей нужен, все равно от того, что он окажется рядом с ней, ей же в конце станет хуже. Он, Данилов, человек, но он еще и демон на договоре. И рисковать будущим Наташи, а то и жизнью ее, он не имеет права. Ему уже сообщено о времени «Ч», оно ему еще не названо, но где-то определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах, что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу, коли завтра он станет вдруг никем, утерять свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество! Но это ладно, это его жизнь. А как бы не пострадала Наташа оттого, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы не сгубила ее его земная любовь.

Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и сунул бумажки в ящик для использованных билетов. Однако облегчения не испытал – номер телефона он помнил.

Обычно после «Лебедино» Данилов,

успокоенный, просветленный, засыпал быстро. А теперь все ворочался. Как будто бы и не Наташа его беспокоила, с Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил, но барбамил не помог. Стараниям барбамила явно препятствовало нечто постороннее. И тут пластинка с буквой «Н» на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. «Вот оно! Вызывают! Сейчас и назначат уточненное время „Ч“!» – подумал Данилов, хотя и знал, что время «Ч» объявляется иным способом. «Примите депешу!» – ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой, Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на Землю по премиальной путевке Канцелярии от Наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова по лицу Кармадон.

Данилов понял из депеши, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Волопас, теперь премирован отдыхом на Земле, и Данилов обязан взять на себя хлопоты об его ночлеге и развлечениях. «Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время „Ч“? – подумал Данилов. – Если не знают, то и пусть!»

Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Коренева: «Помни, Данилов, боящийся не совершен в любви!»

Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. «Неужто Наташа?!» – вскочил с постели Данилов. Звонила его бывшая жена, Клавдия Петровна.

– Слушай, Данилов, – сказала она. – Я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова...

– Я слышал, – сказал Данилов, задерживая зевок. – Это который по экономике Турции... Я рад за тебя...

– У меня сегодня очень важный день, при профессоре начинается мой испытательный срок, ты должен освободить меня от всех забот, я прошу тебя как друга, – решительно сказала Клавдия.

– То есть каких забот? – взволновался Данилов.

– Ты должен выполнить уйму моих дел, и домашних, и служебных. Мне надо развязать руки, ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Войнов.

– Но я-то тут при чем! – тенором взвился Данилов. – Я же тебе давно не муж. Мы разведены судом!

– Ну, Данилов, милый, ах какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом... Ну

смилуйся, государыня рыбка! Ну-у... А, Данилов?.. И потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка... Даже отцом многих моих детей... – Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, словно давая Данилову понять, что имеет все права на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это – крайний случай и дурной тон.

– Помилуй... – начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла говорить умирающая лебедь Сен-Санса – Плисецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом:

– Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь...

– Ну ладно, – вздохнул Данилов. – Но я могу только по утрам...

– Вот и прекрасно! – воскликнула Клавдия. – На неделю!

Сразу же она продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем шестнадцать пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки.

Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж, на

крайний случай, совершенно необыкновенного, скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль», – думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные.

Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть помимо всего прочего напоминать о себе, однако он вступил.

В связи с прибытием Кармадона он потребовал у Канцелярии от Наслаждений индикатор, на манер счетчика Гейгера, который бы тут же фиксировал наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве, – объяснил Данилов. – Ща-а-а как мне да-а-адут!» – думал он, зажмурившись. Однако индикатор ему тут же прислали. «Что же, они и в самом деле, что ли, не знают о времени „Ч“?» – удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы «Рейнольдс», на самом верху его при наличии вблизи демонических сил должна была высветляться изнутри голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно: «Ну, Валентин Сергеевич, держитесь!» Настроение у

него улучшилось, был он самонадеян, смел, полагал, что Валентин Сергеевич теперь где-то далеко и внизу.

Утром по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок, в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано: «Зайти и отметитья в очереди. Хлопобуды. Будохлопы». Дом, крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже, он отвык от старых лестниц, в своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге Данилов позвонил в квартиру номер три. На двери была медная табличка, на ней изображение куриного яйца с пасхальным рисунком и курчавые слова: «Юрий Ростовцев, окончил два института», а ниже, в скобках, мелко: «из них один университет». Дверь приоткрылась, и высокий мужчина, в очках, лет тридцати пяти, с лицом веселого и кормленного ребенка, выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. Или слов каких, или пароля. «Хлопобуды», – сказал на всякий случай Данилов. «Будохлопы», – кивнул Ростовцев (а это был он), то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь тут же

распахнул и Данилову улыбнулся. Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, а все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С таким не пропадешь, – подумал Данилов, – с таким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и если в ресторане чистую скатерть попросит, официантка в такого салатницу не швырнет...» Впрочем, у самого Данилова обаяния было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда...

– Мне отметить в очереди, – сказал Данилов.

– Сюда проходите, пожалуйста, – поманил его Ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатухе. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку несомненно федоровской работы.

Прихожая в квартире была огромная, в доме Данилова в ней обязательно бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто, на всякий случай, забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей или в коридоре, где виднелись между прочим детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованное корыто, повешенное на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не

курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили вполголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока – и тридцатилетние люди, в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела здесь бы неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому – в переулке и на улице Чехова – он видел много личных машин, все больше «Волг», а то и каких-нибудь там изумительных «опелей» и «пежо» с московскими номерами. Не иначе как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди.

– Данилов, и вы тут?

Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним.

– Я не за себя, – сказал Данилов.

– Номер-то у вас какой? – спросил Кудасов.

– У меня никакого...

– Ну а у того-то, вместо кого вы? Если не

секрет...

– Сейчас посмотрю, – сказал Данилов, – у меня где-то есть бумажка... Двести семнадцатый, что ли...

– Я чуть впереди, – сказал Кудасов. – Это вы за Клавдию Петровну, наверное?..

– Да...

– Вы номер-то на ладони чернилами напишите.

– Зачем на ладони?

– Ну как же... Для верности... Здесь все так делают... Вот мою ручку возьмите... Чернила хорошие.

Данилов поневоле вывел на ладони «217», ручку вернул с благодарностью, сказал:

– Давно я не писал номеров на ладони.

– А то как же... Здесь ведь такая публика – палец в рот не клади! Я вот на двух написал, на одной – арабскими, на другой – римскими, да и покрупней, чем вы.

Было душно, и Данилов распахнул пальто.

– Ба, да у вас у самого ручка-то есть! – сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор.

– Она не пишет, – поспешно сказал Данилов.

– Шведская?

– Шведская, – согласился Данилов.

– Кабы заглянуть...

– Да пожалуйста... – жалобно сказал Данилов.

Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась грешным делом голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире Ростовцева не было.

– Умеют же, – сказал Кудасов, возвращая индикатор.

– Умеют, – вздохнул Данилов.

– Но, видно, дешевая она...

– Недорогая...

– А вот умеют...

Зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его, Данилова, в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет... «Но нет уж, шиш!» – подумал Данилов.

Но тут индикатору во спасение дверь одной из комнат открылась, и в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то, в другую комнату, словно в преддверии великих событий, с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими, а тоже были, видно, люди не простые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж

там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного, он и придавал движению ритм и важность, то был известный социолог Облаков, доктор наук, Данилова в какой-то компании познакомили с ним, у Добкиных, что ли. К удивлению своему, Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову, вся возбужденная и пылкая:

– А вот тот-то, тот – кто, в сером костюме?

– Комментатор-международник, по телевизору выступает, – обиженно сказал Кудасов. – И сюда просочился!

– Да нет! Не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел!

– Врач.

– Косметолог?

– Диетолог.

– А гинеколог где же?

– А я почему знаю! – Сердитый Кудасов отвернулся от дамы, прохождение комментатора-международника в числе распорядителей, видно, поубавило в Кудасове куртуазности.

Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно, в очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То,

из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось.

– А вы что же, не сумели сюда пробиться? – сказал Кудасов. – Или проспали?

– Да как-то недосуг было...

– Вот и зря... А впрочем, я вас знаю... – покачал головой Кудасов. – Вы человек беспечный, живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит... И детей у вас нет...

– Да уж куда тут... – вздохнул Данилов.

– Номер первый! – деловито прозвучало в прихожей.

И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией, или как там ее называть, а оттуда возвращались вскоре и теперь уже, довольные, шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку, Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. «Ну, Клавдия!» – погрозил он подруге профессора Войнова. Впрочем, и сам он был хорош!

Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова. А через четверть часа

вызвали и номер двести семнадцатый. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять, а тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню, румяный тридцатилетний отрок Ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный-то он обаятельный, но в сущности пират и, наверное, где-то прячет клад.

– Номер двести семнадцатый, – сказали опять.

«Ну ладно, – подумал Данилов. – Шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет...» И он пошел в большую комнату, видно столовую.

– Номер двести семнадцатый?

– Да, – улыбнулся Данилов, – двести семнадцатый...

И он предъявил ладонь с чернильными цифрами.

Спрашивал не Облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее Облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал.

Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек,

походили на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомошкой и немецкими ковриками на стенах – гуси на них паслись и прыгали кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо дочери мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой, он даже заробел на мгновение, будто он стоял теперь у подножия пирамиды Хеопса (по новой науке – Хуфу), а эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды.

– Ваша фамилия? – спросил пегий человек.

– Данилов, – ответил Данилов.

– У нас таких нет, – сказал пегий человек.

– Я за Соболеву Клавдию Петровну, – сказал Данилов.

– Отчего она доверила вам?

– Я ее бывший муж... – сказал Данилов.

Пегий человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал быстро:

– Бывшим мужьям доверять можно.

– Все же покажите какой-нибудь документ, – сказал пегий человек.

Он изучил театральное удостоверение

Данилова и его паспорт, а данные паспорта – серию, номер, каким отделением милиции выдано и когда – записал в зеленую тетрадь.

– Хорошо. Мы отмечаем Соболеву.

– Я могу идти? – спросил Данилов.

– А взнос?

– Какой взнос?

– Пятнадцать рублей.

– Она мне ничего не говорила, – сказал Данилов. – При мне нет пятнадцати рублей... Она попросила отметиться, и все... Придет в следующий раз и заплатит.

– Она прекрасно помнила об этих пятнадцати рублях, – мрачно заявил человек в красивых очках, именно его Кудасов назвал международником, Данилов ему явно не нравился.

– Вы займите пятнадцать рублей, – доброжелательно сказал Облаков. – Наверное, в очереди у вас есть знакомые.

При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милой Гретхен.

– У меня здесь нет знакомых, – сказал Данилов, он был рад тому, что Галкин отвернулся.

– Ну... – развел руками Облаков.

– Придется Соболеву Клавдию Петровну, – строго сказал пегий человек, – перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса.

– Как же так... – растерялся Данилов. – Она убежит сегодня и уплатит...

– Правила очереди серьезные и незыблемые, мы исключений не делали и делать не намерены.

– И вообще, – сказал международник в красивых очках, на Данилова не глядя, – я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем.

В тишине Данилов с некоей надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем.

– Спасибо, – сказал Данилов. – До свидания.

Ему даже не ответили.

«Серьезные люди», – подумал Данилов.

Нутриевая шапка благополучно висела на неровном загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Цела шапка-то, – подумал он растроганно. – И верно, серьезные люди. С такими можно иметь дело».

И опять в прихожей появился румяный Ростовцев, окончивший два института, махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плече у Ростовцева сидел зеленый попугай. «Нет, точно злодей», – рассудил Данилов.

На воздухе Данилов подумал: «Ну вот, будет Клавдии наука за ее скупердяйство!» Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, упрекнули в забывчивости и легкомыслии и

перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера попрание справедливости. «Какое они имеют право! – возмутился Данилов. – Нет, это дело так оставить нельзя... Да я их разнесу! Тоже мне бюрократы!»

Он позвонил из автомата Клавдии.

– Данилов, слушай! – горным ручьем зазвенела в трубке Клавдия. – Я тебе звоню, звоню, а ты вот где! Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым, ты порадуешься за меня. А сейчас скажи, ты отметился?

– Я-то отметился... – сказал Данилов.

– И прекрасно! Я всегда знала, что ты чудесный, милый человек. Слушай, вчера я вязала Войнову шерстяные носки, ты знаешь, чего мне это стоит, но я связала пятку! И при этом поддерживала с ним светский разговор... А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками, я все приготовила, да еще как!..

«Мне хоть бы раз связала носки», – подумал Данилов и сказал сурово:

– Уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка!

– Ну, Данилов...

– Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди.

– Я так и знала! Так и знала! Ты пожадничал?

– Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги.

– Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек! Ну свои бы дал или занял у кого!

– Спасибо за совет.

– Что же делать-то теперь?

– Не знаю... И кто эти будохлопы? Хлопобуды эти?

– Тише, тише... это тайна...

– Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте...

– погоди... Это не для телефона. Ты где?

– На Горького. Сейчас зайду в кулинарию.

– Хорошо, через двадцать минут я буду там!

«Нужна ты мне!» – думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни, вихри внутренней музыки и предчувствия того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души, альт, может быть, исчез навсегда, и каково от сознания этого было Данилову, а он занимался

какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой! И ведь она ему совсем не была нужна, да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор палубному матросу или банка для червей невскому рыболову!

«Нет! Я сейчас же встану и уйду!» – сказал себе Данилов.

Но сейчас же возникла красивая, бисквитная с шоколадом и цукатами, Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке.

– Ну вот, – сказала Клавдия Петровна, – насчет Войнова ты успокойся. Там у меня все идет хорошо, тьфу, тьфу, постучи по деревяшке...

– Я успокоился...

– Теперь про очередь... Как же это ты?.. Неужели у тебя не было пятнадцати рублей?

– Действительно, – сказал Данилов. – Экая вдруг со мной оплошность произошла...

– Ну хорошо, – сдалась Клавдия. – Я виноватая. Но ты сам понимаешь: про очередь никому ни слова. Это эксперимент... И его можно сглазить, понимаешь?

– Нет, – признался Данилов.

– Ну какой ты... Помнишь, как «Современник» получился? Бедные, голодные, никому не известные актеры после работы по ночам, по утрам, за чашкой кофе что-то там

репетировали, кричали, ругались, во что-то верили и вдруг – бац! – «Вечно живые»! «Современник»! Билеты с рук! Собственный буфет! А теперь их еще и лоно МХАТа приняло в свои объятия! Вот и наши. В неурочные часы, на общественных началах...

– Прости, но пятнадцать рублей? Это уж иные начала...

– А-а! – махнула рукой Клавдия. – Но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные. А наоборот! И все с будущим – а стало быть, с гарантией для нас...

– Кто они? Кто эти будохлопы-то?

– Хлопобуды, – поправила Клавдия. – Научно-инициативная группа хлопот о будущем. «Хлопобуды» – это Ростовцев придумал.

Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще. Она заговорила шелестящим, таинственным шепотом. Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопот о будущем, понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых на сегодняшний день профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института

Лужкова, понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой. Высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам и бог весть еще кто, даже один писатель: ну этот для того, чтобы править протоколы и ведомости и – если возникнет нужда – простыми словами описывать удачные дела хлопобудов. А на вторых ролях – для консультаций и практических действий – группа предполагала использовать – и использовала уже! – людей любых профессий: и начальников жэков, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей месткомов, да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые, лучше до сорока, и могли протянуть на своем посту еще, по крайней мере, два десятка лет.

– Ну хорошо, – сказал Данилов, – а ты чего ждешь от хлопобудов?

Нежными, чуть полными пальцами в двух

изумительных перстнях – с сердоликом и бриллиантом – Клавдия Петровна донесла сигарету «Уинстон» к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс.

– Это сложный вопрос, – сказала она. – Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страдать. Да, страдать... И особая интуиция тут нужна. Ты можешь не понять... Или понять не так.

– И все же? – сказал Данилов. – Вдруг и пойму.

– Каждый порядочный человек, уважающий себя, – сказала Клавдия Петровна, – желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо. И желает занять положение, какое ему по душе. Перейти из последних в первые. Ну не в первые, а в восьмые. Какая разница!

– Ты со мной, что ли, была в последних?

– Не в самых последних, – мило улыбнулась Клавдия Петровна. – Но, Володенька, увы, близко к ним... Не обессудь. И хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь... Но на время... Ведь жить-то надо страстями!

– Страстями? – спросил Данилов.

– Да, – сказала Клавдия Петровна, – страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно –

страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой.

– Я знаю, что это не ты придумала...

– А теперь у меня все есть или с Войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою. Я в соку. Я красивая. Я красивая, а, Данилов?

– Красивая, – согласился Данилов.

– Что нужно женщине? Слава? Удача в общественной деятельности? Я проживу без них, я и так эмансипированная. Славы деловой мне и задаром не надо, она не по мне, я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унижительных для женщины, отупляющих ее, – вон взгляни на свою знакомую Муравлеву, она вся погрязла в бездуховности! Одна коса оттуда торчит. И то – натуральная... И перегрузки мне не нужны. Они вообще – для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу, мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой...

– А если бы ты вовремя постаралась, – спросил Данилов, – ты что же, стала бы ими?

– Ах, отстань! Слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщины. И здесь для меня первое правило – не быть в любви несчастной. Но и не делать несчастным мужчину. Или мужчин.

– Естественно, не таких мужчин, как я, –

сказал Данилов.

– Сам посуди, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий, ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен... Ты вот даже пятнадцать рублей... Хотя я не жалею о прошлом и за квартиру я тебе благодарна... Но профессор Войнов сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все... То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану... На другие места мы станем садиться... И уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу.

– Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям, умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо...

– Какой ты, Данилов, бестактный! Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа... Сорок часов в неделю... Но это одно про Войнова... А другое... У меня теперь будет машина, и не «Жигули», а «Волга», дача, не садово-огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке... Квартиры будет две...

– Две? – встрепенулся Данилов.

– Что? – взглянула на него Клавдия Петровна и, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась: – И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывезти меня хотя бы года на три... И ему нужно для работы... Но, конечно, не в Турцию... Что там в Турции!.. Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы!.. Есть же и другие страны – Италия, Франция, Англия, наконец, и оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы.

– Сможет, – кивнул Данилов.

– Но я увлеклась. Я же про другое тебе хочу сказать. Про хлопобудов. Сейчас я всем довольна. А через десять лет? Или через двадцать? Или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три?

– Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют?

– Да не торгуют! Как они могут торговать! Станный ты человек, Данилов! Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в восьмидесятом, девяностом, двухтысячном году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего, прости, поголовья. Или вот

лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромым, а теперь Бумбараш, и на тот век лесу было «да ой-ей-ей!». ...А уж футурологи, те вообще все наперед знают – у них движение каждой пылинки в истории определено – и так и в процентах – и травки каждой прозябанье...

– Неужто и гад морских подводный ход? – спросил Данилов.

– Насчет морских не знаю... Но у нас там есть человек из фирмы «Океан»... Он разберется с морской рыбой, если надо... Я тебе азы объясняю... Ты понял?

– Угу, – кивнул Данилов.

– А наши-то умы, из хлопобудов, тоже не последние. Главные в группе – системные аналитики. Их бог – Облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами просветят, ну и медицинской аппаратурой просветят, представят меня в восьмидесятом, девяностом и двухтысячном году и скажут, что мне будет нужно и что – теперь и тогда – мне следует предпринять.

– При условии, что ты будешь жить страстями?

– Возможно... Хотя не исключено, что

страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и учесть. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы. Чтобы не сбить аналитиков с толку.

– И часто они берут по пятнадцати рублей?

– Не редко... По графику... Чтобы мы сознавали свою ответственность... Да и что теперь жалеть мелочь? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать.

– За что?

– Ну как за что... – удивилась Клавдия Петровна.

– Хорошо, – сказал Данилов. – Ладно. Получишь, положим, ты справку. На три десятилетия. Но ты измучаешь себя откровением хлопобудов.

– Себя – нет! Других – да!

– К счастью, – сказал Данилов, – я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу...

– Кто знает...

– Нет, нет, ни в коем случае, – испугался Данилов, – эту неделю отдежурю, как обещал, и все...

– Подумаешь, пятнадцать рублей! – сказала Клавдия Петровна. – Многие в очереди даже и не ради себя стоят. А ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях! Потом

репетиторам втрое дороже заплатишь!

– И о высшем образовании детишкам хлопочут?

– Кто о высшем. Кто о среднем, обязательном. Скажем, как частный вопрос, выясняют, и правильно делают, в школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык. Или там ямайский диалект.

– Слушай, а вдруг через десять лет можно будет иметь по трое детей, – подумал Данилов. – Ты что же, родишь?

– Рожу, – сказала Клавдия Петровна.

– А пока будешь терпеть?

– Я и терплю, ты сам знаешь...

– Впрочем, это все частности...

– Частиности, – согласилась Клавдия Петровна. – Для меня частности. Я буду знать главное, а частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частных в очереди и стоят. Дуры есть замечательные. Ну и дураки тем более. Уж раз по пятнадцать рублей платишь, то и... А они... Некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости... Ждут и туфли на воздушной платформе... Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл.

– А Кудасов, он-то что ходит?

– Не знаю. Наверное, и ему нужны

какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю... Если мне его припрогнозируют.

– Или прифутуруют...

– Или прифутуруют... А может, Кудасов печется о службе... Тут многие со служебными болями...

– Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше?

– Дальше! В группе кроме системных аналитиков есть конструктивисты. Вон известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я, в частности, что в восемьдесят шестом году мне понадобится пальто из моржовой кожи, и сейчас же запишусь к нему в очередь...

– И десять лет будешь отмечаться?

– И буду! Зато вовремя, даже чуть раньше получу вещь. Конструктивисты они у нас оттого конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать... Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет... Кто к косметологу, кто к начальнику жэка... Но все это частности.

– Что же главное?

– Это тайна. Но я... – Тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. – А я уже знаю кое-что... То есть... У меня есть уже сведения... Я не все знаю, но я догадываюсь... Я не скажу, как я

узнала и через кого... Но поверь мне... У меня есть одна сумасшедшая идея...

– Достаточно сумасшедшая?

– Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея.

– Стало быть, и тебе нужны три карты?

– Ах, Данилов! – нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. – Если бы ты был Сен-Жермен... Нет, я уж сама все устрою!

– Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь?

– Я и сама не знаю зачем... Может быть, зачем-то... Ну хотя бы ты сможешь восстановить потерянный номер. Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями... Мои деньги хотел себе присвоить... Мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь.

– А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь?

– Нет. Я обязательно должна получить официальную справку. И потом, в очереди интересно... Разговоры... Люди... Знакомства очень полезные... Через три дня мы с тобой пойдем и восстановим номер...

– Но...

– Нет! Раз уж ты виноват... Раз уж пожадничал... И потом, вдруг я тебя в свою

безумную идею посвящу, а?

Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув с буфетной стойки, посыпались Данилову с Клавдией на столик. «Кармадон, что ли?» – подумал Данилов. Но вот машины поехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот.

Глаза Данилова двинулись по следу ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяный Ростовцев с федоровской трубкой во рту.

Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову: «Я тебе позвоню... Действуй по списку... Извини...» – и была такова.

8

Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша-привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она

его наверх не пускает, ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и несамостоятельно одетый.

Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел действительно незавидное, осеннее.

Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и взглянул на индикатор. Нет, и теперь голая рубенсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом. А озорник Кармадон, лицейский одноклассник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде. Хотя бы и погорельцем с ребенком в руке.

– Владимир Алексеевич, – сказал молодой человек, – я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку. То есть я неизвестно что пишу, но я хотел бы писать музыку... То есть это я все зря... Вы меня поймите... Вы меня не знаете... Я кончил консерваторию лет через десять после вас... У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам... Один разговор... Я был на вашем концерте в НИИ, я

оказался там случайно... Я две ночи потом не спал... Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это...

Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания, папку конторскую с коричневыми тесемками, тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков.

– Хорошо, – сказал Данилов растерянно, – я посмотрю.

– Сделайте одолжение, – сказал Переслегин. – Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, если посчитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод...

Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери, привратница Полина Терентьевна, движением души удлинив шею, глядела ему вслед, Данилов чуть было не пустился за Переслегиным вдогонку.

– Пойдите, куда вы, если у вас есть ко мне разговор, так зачем предварительные условия?..

– Нет, нет... Вы сначала посмотрите!

И дверь за Переслегиным закрылась.

– Этот не подозрительный, – сказала Полина Терентьевна. – Этот хуже...

– Вы так думаете? – спросил Данилов.

– Я не думаю, я вижу, – сказала Полина Терентьевна.

В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано: Переслегин. Симфония номер один. «Э, нет, – подумал Данилов, – что же я так, на ходу, потом будет время, потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что вот хоть один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в НИИ хорошей. Хорошей? Наверное. Если бы посчитал дрянной, подумал Данилов, то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне. Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне! А вот пришел.

Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты – вдруг музыка Переслегина окажется бездарной! Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра!

Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер «217», применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец, не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи или в замках, естественно – английских, коварно заскакивали собачки, и в хозяйстве своем имел много полезных вещей. «Эка

я вляпался с Клавдией! – подумал Данилов. – До душевных откровений дело дошло... Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня... На двадцатую роль – посыльным быть или подставным лицом или на шухере стоять, – но имеет... Нет, следует решительно послать эту даму подальше!»

И все же Данилов думал с любопытством: «Что же это за идея такая замечательная?» Клавдия ведь прямо вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на Новом Арбате, коли они ей помешают, а идее даст ход. Дама неугомонная!

С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну.

– Володя, вы, наверное, меня не узнали? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ну как же, Катенька, – обрадовался Данилов, – неужели я могу вас не узнать!

Хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилову всегда была приятна, к тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины

Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки весь имевшийся в доме шампунь, а заодно и – дезодорант, о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени – закрылась выставка коллекции Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном:

– А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши. ...И играли замечательно... И вообще... Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю...

– Нет, серьезно? – смутился Данилов.

– А одна моя знакомая, та и вовсе... Вы на нее произвели большое впечатление.

– Катя, я понимаю, о ком вы говорите... И Наташа произвела на меня большое впечатление...

Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор – прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор, сейчас, в беседе с Екатериной Ивановной, это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права – мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники! Индикатор и

по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубенсовская женщина и теперь не ожила.

– Вы знаете, Володя, – сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно, – может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо.

Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал.

– Нет, она не больна, – опять отважилась Екатерина Ивановна. – Но я чувствую, что ей очень плохо. И я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый. Наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное... И вас, Володя, к чему-то будто бы обязывать... Но вот я не удержалась и позвонила...

– Я вас понимаю, Катя... – сказал Данилов. И тут же спросил: – А что же с Наташей?

– Просто плохо ей, – сказала Екатерина Ивановна. – Я и сама не знаю отчего... Она гордая. Она ничего не скажет ни мне, ни вам. И как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает...

– Вся-то моя беда, Катя, состоит в том, – сказал Данилов, – что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью, после одиннадцати...

Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии: ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной гибели, забыв, забыв, забыв, нестись к Наташе и быть возле нее, а он мямлил в трубку жалкие слова. «Экий подлец!» – говорил себе Данилов. Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую. Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых? Так, что ли? Он и себя старался уверить впопыхах, что его чувство к Наташе – блажь, возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения, Екатерина Ивановна ждала от него слов, и Данилов вместо решительной фразы, сам себя упрекая в безволии, произнес:

– Ладно, Катя, я что-нибудь придумаю...

А что же он мог придумать? Повесив трубку, одетый, в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика. Бороду теребил. Нет, думал Данилов, обманываю я себя. Не улетучилось чувство, былшем

не поросло. Наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Свои-то мысли и желания он мог смирить, да и должен был смирить их, но вот и впрямь, может быть, сейчас же следовало отвести от Наташи печали и напасти? Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно! Может, теперь, как к альту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронирыливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримые его хозяева?

Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате.

Теперь он уже знал, что нарушит правило договора, хоть это и будет мгновенно учтено. «А-а! Пусть! – махнул рукой Данилов. – Была не была!» Иных возможностей он не имел. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. Перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметной глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть. Но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил аппарат познания. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь, вглубь и ввысь, но и это было бы дурно, он не имел никакого права знать Наташино

сокровенное без ее нужды. А уж открывать для себя ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познания взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не тотчас же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов был нетерпелив, рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познания пользовался редко, и он в Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал. А Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях Земли – касторовым или репейным.

Добытые Даниловым сведения несколько его успокоили. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили, то ли пожалели, то ли оставили ее про запас. Причины сегодняшнего состояния Наташи были внутренние, человеческие, а потому Данилов и не стал в них вникать.

Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя: разве можно было ему в ожидании времени «Ч» нарушать правила договора! Впрочем, он часто ругал себя задним числом... Данилов вздохнул: что теперь жалеть-то! Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентина Сергеевича Наташе не грозит. Они, враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе (не то что к альту), держа его

за ветреника, а если и верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел. Значит, время у них с Наташей пока было – и следовало им воспользоваться. А там будь что будет, решил Данилов, а там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар! После депеши о Кармадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время «Ч». Да и без Кармадона, полагал Данилов, он сам обязательно придумает выход из губительного тупика, сядет как-нибудь и придумает.

Однако время шло, и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. «А! Нарушать так нарушать!» – лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубенную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист и спросил, не он ли, Данилов, заказывал машину из третьего парка. «Да, я», – сухо ответил Данилов.

Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. «Пошли бы заботы Клавдии подальше!» – опять сказал себе Данилов. Но, подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук. Били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки,

и увидел парня в мазаном ватнике с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой.

– Вам кого? – спросил Данилов.

– Мосгаз, – простуженно сказал парень.

9

Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бранил себя, спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее, сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен.

– Вот и хорошо! – обрадовался Данилов. – Сегодня у нас «Кармен» с Погосян! Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в антракте! Если вы, конечно, захотите прийти...

«Кармен» Наташу манила...

Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика, рядом на полу покоился гаечный ключ. «В кладовку, что ли, их пока сунуть? – подумал Данилов. – Или вовсе выкинуть? Они уж теперь ему и не нужны...»

...Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь.

– А что так поздно? – спросил Данилов. – И именно ко мне?

– Мы всех обходим, – сказал парень из Мосгаза. – Есть необходимость предотвратить аварию.

Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученный, а потому и приветливый.

– Сюда, сюда, – сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. – Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются и газ еле идет.

Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул.

– Вот поглядите, – Данилов стал крутить ручки кранов, – с какой натугой идут. И еще – не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный, белый, а то некрасиво... Я заплачу...

– Гаечным ключом, что ли, я заменю?

– У вас, наверное, в чемоданчике техника